

ЛОПУШОНОК

Утро только принялось вычерпывать ночь. В избе серо, зябко. Окно в маленькой комнатке распахнуто. Хорошо слышно, как неподалеку невесть над чем тихохонько смеется речка Вичка, как, стряхивая с ветвей остатки прошедшего ночью дождя, шелестит осина, как в соседнем дворе о чем-то своем тяжело вздыхает корова, как глухо звякает ботало.

Сашка Лопушонок — деревенский пастух — лежит на кровати, до подбородка укрывшись одеялом, лицом к висящим на стене часам с большим золотистым маятником, который, цапая скудный уличный свет, деловито роняет: тик-так, тик-так.

— Тебе — мне, тебе — мне, — насмешливо бормочет Сашка, на ощупь отыскивая на табурете курицу и спички. — Себе небось килограмм отвешиваете, а мне дак сто граммов. Ревизора на вас нет.

Закурив, вслушивается в самое себя, стараясь определить, какое у него сегодня настроение. Он давно пытается и никак не может понять, откуда оно берется, это настроение, от чего зависит? Иной раз и погода пакостная, и день обещает одни неприятности, а настроение — мармелад. А другой раз и погода отличная, и впереди все хорошо да ладно, а настроения нет. Нет — и все тут, хоть плачь.

Сегодня настроение нормальное. Сашка сладко потягивается, встает и, как есть, в трусах и майке, переставляя длинные кривые ноги, подходит к окну. Он смотрит на деревянный мосток, щедро заросший травой луг, лес, небо, по которому плывут пухлые облака. «Надежное небо», — удовлетворенно думает он, направляясь в кухню.

Включив электрический чайник, с вечера наполненный водой, натягивает штаны, запикивает в карман полотенце, сует босые ноги в кирзовые, давно не чищенные сапоги и, громыхая ими, выходит из избы.

Деревня еще спит. Калитки заперты. На окнах занавески. Тихо.

«Блюк!» Сорвалась и упала со щетинистой крыши в разлегшуюся у самой завалины лужу полновесная капля. Вздогнули, заколебались опрокинутые в воду пушистые облака, изба, осина, а на месте капли — глубокая ровная ямка, которая в тот же миг вспучилась зеркальным пузырьком. Короткое молчание, негромкое «чмок», и — нет его, круги только. Тишина, и снова — «блюк!»

— Вот тебе и «блюк!» — весело говорит Сашка, потирая ладонями покрывшиеся мурашками плечи, грудь. — «Блюк» — и все дела! — Сойдя с крыльца, кричит во всю ивановскую: — Старшина-а?!

Из стоящей рядом с избой конуры неохотно вылезает здоровенный рыжий пес. Сашка выменял его еще щенком на финскую блесну «профессор». Морда у пса самая что ни на есть продувная.

— Небось опять всю ночь со знакомой лайкой прошлендал? — Сашка шутливо треплет его за вислое ухо. — Ну, что молчишь? А довела-то она тебя... — он качает головой. —

Не бока, а стиральные доски.

Пес шумно вздыхает. Капля влаги, повисшая на самом кончике носа, дрожит.

— Сопли вытри, ухажер! — насмешливо роняет Сашка, направляясь к калитке.

Сашке тридцать с небольшим. Живет один. Родители померли, сестра Тася уехала учиться в город, а жена Нюрка, бойкая на язык и решения, прожив немногим больше года, укатила с каким-то заезжим в неизвестном направлении, оставив записку: «Не ищи. Надо будет — сама найдусь. Твоя Нюрка», а вскоре прислала телеграмму: «Дай развод». Сашка дал.

Изба его, если въезжать в деревню со стороны города, стоит первой. Небольшая, еще довольно крепкая, она одним окном смотрит в сторону города, двумя другими — на речку Вичку, четвертым — на деревню. Слепой стороной жметя к густому березняку.

Рядом с избой обширный, но лишь на треть засаженный картошкой огород, сарайка и собачья конура. У крыльца частокол удочек с болтающимися лесками. Вокруг всего этого хилый забор с калиткой. На калитке самодельный почтовый ящик, в который время давно уже ничего, кроме пыли и атмосферных осадков, не опускает. Правда, года три назад смилостивилось, положило от сестры тонкий белый конверт, где лежали приглашение на свадьбу, и небольшой листок бумаги, заполненный торопливыми словами извинения за долгое молчание, мольбой выслать денег (сколько сможешь), а в самом конце, так, как бы между делом, — вопрос о его здоровье, жизни.

Деньги Сашка выслал в тот же день, а вот приехать на свадьбу не смог — приболел. Выздоровев, отписал, что живет нормально, что по причине болезни под названием «аллергия» работает уже не трактористом, а пастухом. Просил прощения за свое отсутствие на свадьбе, просил писать, но ответа ни на это, ни на все последующие письма не было. Несколько раз хотел съездить, да обида отговаривала.

...С дороги к речке сбегает тропинка, заросшая по обеим сторонам подорожником. Тропинка скользкая от дождя, и Сашка спускается по ней боком.

Берег усыпан крупным желтым песком. Он влажно скрипит под ногами.

Присев на корточки перед речкой, Сашка бросает в продолговатое, темное от загара лицо несколько пригоршней прохладной, пахнущей камышом воды, вытирается и садится на борт вытащенной на сушу лодки.

Вокруг загадочно. О чем-то негромко рассказывает притихшим берегам речка. Изредка всплеснет рыба. По небу, отражаясь в реке, плывут облака. Их много, они разные, но все плывут в одну сторону, туда, где рождается новый день.

Тихо. И вдруг со стороны деревни раздается тугое, частое хлопанье крыльев и нарастающую развеселую «Ку-ка-реку!» разносится

по всему белу свету.

Сашка щурит темные, похожие на семечки глаза, широко улыбается и шагает обратно.

Вскоре он пьет горячий, щедро заваренный чай. Пес жадно глотает из большой алюминиевой миски. В избе мягкий полумрак.

Тикают часы. Остывая, добулькивает в чайнике вода.

Опорожнив кружку и наполнив ее снова, Сашка выходит на крыльцо, садится. Пес, положив морду на вытянутые лапы, устраивается рядом.

— Вымокнем мы с тобой сегодня от и до, — говорит Сашка, дуя в кружку. — Это как пить дать. Когда еще солнце остатки дождя слижет.

Пес вертит хвостом и вдруг настороженно поднимает морду, рычит. Со стороны мостка слышатся размеренные, чавкающие шаги, и вскоре из-за угла избы появляется плотный мужчина в длинном болоньевом плаще, в заляпанных грязью резиновых сапогах, держа в руке небольшую корзину, наполненную тускло отсвечивающей рыбой.

Это Игнат Безмен. Изба его, спрятанная за высоким без единой щели забором, на воротах которой нарисована зверская морда то ли собаки, то ли Змея Горыныча, стоит на противоположном конце деревни. Увидев Сашку, он, не сбавляя шага, поворачивает к избе. Подойдя, бережно ставит корзину на землю, садится на завалинку, небрежно роняет:

— Здорово.

— Ну, здорово, — неохотно отзывается Сашка, глядя в сторону.

— Солнца ждешь? — Безмен с нескрываемой насмешкой смотрит на него. — Думаешь, что без тебя оно не появится?

— А тебе не все равно? — отрывисто говорит Сашка, по-прежнему глядя в сторону.

— Да как тебе сказать... — Безмен пожимает плечами, оглядывает двор, хмыкает.

Некоторое время сидят молча.

«И какого черта приплелся? — с неприязнью взглянув на него, подумал Сашка. — Топал бы своей дорогой. Куркуль хренов!» — и, вспомнив вчерашнюю встречу с его женой, хохотнул.

Безмен вопросительно посмотрел на него:

— Ты чего?

— Жену твою вчера в магазине видел. Вечером.

— Ну-у, — настороженно протянул Безмен, не отрывая глаз от Сашкиного лица.

— Смешно, — Сашка достал из кармана пиджака папиросы. — В ушах золото, на руках золото, платье переливается, а чулки белыми нитками зашиты. Бабы, так те, глядя на нее, зафыркали даже.

— А тебе какое дело до того, как моя жена одета?! — процедил Безмен, играя желваками. — Впрочем... — он не договорил, сплю-

нул и ехидно. — У тебя и такой нет. Удрала!

— Ну и черт с ней, — равнодушно проговорил Сашка, — Значит, не жена и была. Найду еще. Женщин много.

— Да кому ты такой нужен, — ухмыльнулся Безмен. — Бабе нужен мужик такой, чтоб работал, а не на солнце пялился. А-а, да что с тобой говорить, — и он, взяв корзину, тяжело зашагал к калитке. Выйдя за нее, остановился: — Вчера в городе был, Таську видел. Привет тебе передавала. Сказала, что на днях приедет, — и завистливо: — Хорошо устроилась девка, с умом. Три года замужем, а уже кооперативная квартира, машина. Не чета тебе... Бывай.

Некоторое время Сашка молча смотрит на носки сапог, затем возвращается в избу, подходит к окну.

Из окна виден край густого березняка, где он перед женитьбой тайком от всех мечтал о том, как будет жить с Нюрой, сколько будет у них детей... Но жена ушла...

О жене Сашка думал равнодушно: ушла дай ушла. Правда, порой сердце царапали воспоминания — не такая и плохая она была. Только уж больно много любила вертеться перед зеркалом, да по делу и без дела склоняла соседей. И склоняла-то с какой-то нездоровой злобой и наслаждением. Ну, да бог с ней. Что уж теперь-то ругать. Может, ей сейчас не больно сладко живется.

Когда он снова вышел на крыльцо, деревянная уже проснулась. Слышались скрип калиток, звяканье ведер, немного раздраженные голоса.

Выглянуло солнце. Мягким светом заблестели свернувшиеся калачиком на листьях подорожника, крапивы капли воды, и даже лежащий у забора увалень-булыжник принял эдакий самодовольный вид.

От избытка чувств Сашка садит ногой по лежащей на крыльце консервной банке. Та, описав серебряную дугу, ухает в картошку. Выйдя за калитку, засовывает руки в карманы пиджака и неторопливо шагает по улице. У соседней избы останавливается. Дверь стоящего в глубине двора хлева распахнута.

— Бабка Настена-а?! — кричит он. — А-у! Где ты там?

— Тута я, милый, тута! — раздается старческое, торопливое. — Погодь малость.

Вскоре из хлева, тяжело ступая, выходит комолая, черная как головешка корова. Следом, похлопывая по ее литому боку темной ладошкой, идет бабка Настена. Голова ее, повязанная цветастым платком, чуть виднеется над коровьим хребтом. На старухе серое длинное платье, зеленая кофта, шерстяные носки с галошами.

За калиткой корова косится на собаку выпуклыми глазами, вытягивает морду, и нутряное, густое, как тепловозный гудок, «му-у» разносится над деревней.

— Не «му-у», а с добрым утром, — улыбается Сашка и шутливо: — Невоспитанная она у тебя, бабка Настена.

— А уж какая ни на есть,— вздыхает та.

— Что снилось-то?

— А разное, милый, разное. Старик мой снился,— она прижимает кончик платка ко рту, задумывается.

— Так, говоришь, замуж собираешься?— нарочито озабоченно спрашивает Сашка.

— Чяво?—моргает Настена.

— Замуж, спрашиваю, собираешься?— повторяет Сашка.— Дело это, как я думаю, для жизни необходимое, годиков тебе еще мало.

— Какой там мало,— отмахивается На стена, вздохнув.— На Ивана Купалу семьдесят шесть...

— До ста еще много осталось,— перебивает Сашка, склонив голову к плечу.

— А, да ну тебя,— хихикает та, пряча рот за ладошкой.

— А чего ж тогда по вечерам у окошка сидишь? А? Небось старичка присматриваешь?

— Сижу, Саша, сижу,— Настена снова вздыхает.— Жду, может зайдет кто ко мне, старухе, слово доброе скажет. А все мимо да мимо.

Замолчали. Улица наполнилась мычанием коров, крепкими голосами.

— Дети-то пишут?—нарушает молчание Сашка.

— А то как же! — Настена светлеет лицом.— Давеча вот от старшего получила,—она зарылась в карманах кофты, протянула вдвое сложенный листок.— Отписывает, что скоро приедет.

— А это что?— Сашка показывает на расплывчатые пятна на бумаге.

— Это я, Саша, всплакнула малость,— просто объясняет Настена.

— Хорошее письмо, а ты — плакать,— укоризненно говорит Сашка, покачивая головой.— Радоваться надо.

— Так ведь не только от горя плачут. От радости тоже ой как хорошо плачется. По плачешь— и как душу умоешь. Мой-то старик ни в жизнь не плакал — вот сердце и устало. И ты, Саша, нет-нет и поплачь.

— А мне-то зачем?—удивился Сашка, возвращая письмо.— У меня все нормально.

— Ой ли?— качает головой Настена.— Вижу я, как ты маешься, как в березняк ходишь. А все петухом, петухом. А люди-то, они все видят. Глазастые они, люди-то.

— Пойду я, бабка Настена,— говорит Сашка, глядя вдоль улицы.— Пора мне.

— А иди, милый, иди,— кивает та.— За кормилицей моей приглядывай.

— Пригляжу.

— Ну, иди с богом, иди.— Настена крестит удаляющуюся Сашкину спину частым мелким крестом и семенит к избе.

Сашка идет, глядя под ноги.

— Ишь ты, глазастые,— бормочет он, и оттого, что они глазастые, ему хорошо.— Старшина-а! — орет он на всю деревню — Где порядок?! Почему порядка не вижу?

— Так они у тебя скоро строевым потопают! — раздается насмешливое.

Сашка оглядывается. У калитки на скамейке сидит Генка Лютиков, его давний друг. Выражение его лица — кислое.

— Здорово,— говорит Сашка, садясь рядом.— Почему невеселые?

— А-а,— тот вяло машет рукой.— Со своей симпатичной вчера поругался. Да и было бы из-за чего, а то... Дай закурить. А сегодня и глаза-то толком не успела продрать, а уж пилить начала,— хмуро говорит Генка, разминая папиросу.— Словно я ей бревно. И что за бабы? Им только повод дай — из мухи слона сделают.

— Чего не поделили-то?

Генка прикурил, сплюнул и раздраженно:

— Сидим, понимаешь, вчера вечером у магазина, продавщицу ждем. Бабы на завалине, мы, мужики, на пустых ящиках из-под вина. Ну, слово за слово, разговор семейной жизни коснулся. А бабы, сам знаешь, когда дело об их роли в семейной жизни заходит, насмерть стоят. «Не вы нас, кричат, а мы вас поддерживаем!»— Генка, передразнивая их, всплеснул руками.— Если б не мы, вы бы давно со света сгинули». Дальше — больше. Меня, естественно, зло разобрало. Жена, говорю им, это вроде как профессия, и что не всякая жена любимая.— Генка вздохнул.— И чего я по сторонам не посмотрел? Там-то моя только глазищами на меня зыркнула, а дома такую характеристику выдала, что меня на том свете не то что в рай, в ад на пушечный выстрел не подпустят. Сашка рассмеялся.

— Смешно ему,— ворчит Генка, вдавливая окурки в край скамьи.— А тут хоть плачь. Она же не меньше недели с надутыми губами ходить будет.

— Объяснил бы.

— «Объяснил»,— передразнивает тот.— Ты что, мою Лидку не знаешь?

Сашка смотрит на избу друга, спрашивает:

— Мартын-то как поживает?

— Мартын?— широкое с носом пуговкой лицо Генки расплывается в хорошей улыбке.— Мартын у меня дело знает: спит, писает, ну и все остальное. Во парень растет!—он поднимет большой палец.— Подрастет — девки за ним табунами бегать будут.

Сашка вздыхает, смотрит на часы:

— Пойду я.

— Вечером зайдешь? Может, Лидка, того, расщедрится.

— Ладно.

Сашка идет не спеша. Коровы дорогу знают, а если подзабыли — Старшина напомнит. Лужи в золотистых каемках. Каждая кажется глубокой и чистой, как светлая ламбушка. Иногда в какой-нибудь начинает плавиться солнце, и тогда прямо в лицо выпрыгивает теплый солнечный зайчик.

Впереди Сашки бровкой дороги, без всякого настроения передвигая ноги, идет невысокий мужчина. Рубашка неряшливо заправлена в широкие брюки, на большой голове — пятачком выцветшая тюбетейка. Это

Мишка Щавель по кличке «Ура». Кличку он получил несколько лет назад, после возвращения из армии. Пошел купаться, стал тонуть и, вместо того чтобы как все добрые люди в таких случаях кричать «Спасите!», верно с перепугу, заорал «Ура!».

Сашка прибавляет шаг, окликает его. Тот неохотно останавливается, бурчит:

— Чего тебе?

— Двое — не один, — весело говорит Сашка, подойдя. — Куда направляешься?

— А все туда же, — угрюмо говорит тот и через несколько шагов: — Трактор заглох. Чтоб ему... А бригадир тут как тут. Работать не умеешь, кричит, гнать таких надо.

— Чего заглох-то?

— А черт его знает! — хмуро отвечает тот. — Заглох да и все. У него же не спросишь. Железо, оно и есть железо.

— Далеко стоит?

— Вон маячит, — Мишка ткнул рукой в сторону раскинувшегося по другую сторону реки поля. — Завести сможешь?

— Помогу.

Мишка веселеет лицом.

Подойдя к трактору, Сашка с удовольствием вдыхает запах солярки, обходит вокруг него, спрашивает:

— Топливо есть?

— Вчера утром заправлял.

— Как глохнул-то? Медленно или сразу?

— Медленно. Я на газ, а он...

— Ясно, перебивает Сашка. — Дай ключ на девятнадцать.

Отсоединив топливную трубку, шедшую от топливного бака к подкачивающей помпе, смотрит на Мишку:

— Видишь, топливо не поступает.

Мишка чертыхается:

— Тыфу ты! И кой леший до меня этот пустяк не дошел?!

— Бывает, — машет рукой Сашка и, подавая ключ, замечает: — Движок бы вымыл, а то смотреть тошно.

Мишка морщится:

— Вымою при случае.

Пастбище за полем у реки, напротив деревни.

Когда Сашка пришел, коровы паслись, а Старшина, вывалив мокрый язык, тяжело дыша, лежал под развесистой березой, в тени.

— Устал, дружище? — ласково спрашивает Сашка, поглаживая пса. — Ну, отдохни, отдохни. Сахару хочешь? — он достает из кармана замызганный кусок сахара, сдувает с него прилипшие крошки табака. — На. Жуй.

Взглянув на коров, идет к речке, садится на выброшенное водой бревно, лицом к деревне. Она как на ладони. Над крышами изб, над сбегаящими к речке тропинками поднимается золотистый парок. Деревня до щемящей нежности проста и красива.

«Дура Таська, — думает он, глядя, как речка нетерпеливо теребит забежавшую в воду травинку. — Как есть — дура. Эка невидаль: квартира, машина. Отдыхать-то, поди, сюда приедет».

На поле рыкнул и удовлетворенно заро-

котал трактор, застрекотала сенокосилка.

Сашка ложится на песок, заложив руки за голову, смотрит в далекое небо, слушает речку, размеренное позвякивание ботал и незаметно для себя засыпает.

Будит его ленивый лай собаки. Берегом реки, держа в руке узелок, идет Виталька, сын Лизы Степанковой, молодой, но уже вдовой женщины. Муж ее, здоровенный, крепкий мужчина, никогда раньше не болевший, умер от пневмонии. Виталька большеголов, белобрыс. На нем закатанные выше колен штаны, рубашка расстегнута до пупа.

— Здравствуйте, дядя Саша, — степенно говорит он, протягивая узелок. — Мамка при слала. Сказала, отнеси дяде Саше, — и он шмыгает носом.

— Спасибо большое. А я, брат, забыл зайти, — Сашка разводит руками. — Забыл — и все тут, понимаешь?

— Понимаю.

— Кушать будешь? — спрашивает Сашка, разворачивая узелок.

— Вообще-то можно, — Виталька пожимает плечами.

В узелке пол-литровая банка сметаны, колбаса, хлеб, огурцы, соль.

— Это что, все мне? — растерянно спрашивает Сашка. Никто и никогда из деревенских не собирал ему такой щедрый узелок.

— Вам, кому же еще, — говорит Виталька. — Мамка его еще вчера собирать начала. Огурцы вкусные, — и он облизывает губы: — Я пробовал.

Сашка удивленно и растерянно смотрит на деревню, на Витальку, хочет что-то сказать, но, проглотив подступивший к горлу комок, выдавливает...

— Давай... налегай...

Виталька налегает. Сашка откусывает кусок хлеба, спрашивает, глядя в сторону:

— Папку помнишь?

— Не-а, — Виталька мотает головой. — Мамка помнит. На фотокарточку посмотрит и плачет. А чего плачет, ежели помер? Он же сам помер, его никто не заставлял.

Сашка грустно усмехается:

— Рыбу ловить будешь?

— Домой надо, — неохотно говорит Виталька. — Мамка сказала, чтобы я дрова сложил.

— А колол кто?

— Мамка, кто же еще? — удивляется тот. — Она сильная. Только руки и спина у нее после болят.

«Еще бы не заболеть, — думает Сашка. — Тут и у мужика заболит, а у нее...»

— Так я пойду, — Виталька встает.

— Дров-то много еще колоть?

— Много. Во-о! — Виталька разводит руками. — А чурбаны — во-о!

— Скажи мамке, что завтра приду, по могу, — незаметно для самого себя произносит Сашка.

— А мамка и сама говорила, что хоть бы дядя Саша зашел подсобить.

— А не врешь?

— Вот еще. Была нужда, болело брюхо! — презрительно хмыкает Виталька и направляется к деревне, то и дело останавливаясь и пуская по воде блины.

Сашка смотрит ему вслед и надолго задумывается. Мысли разбегаются, как мыши, — не поймать, но все какие-то хорошие, радостные...

Незаметно подбирается вечер: темнеет в речке вода, запах трав становится гуще. Коровы лежат, жуют жвачку.

«Пора домой, — вяло думает Сашка. — Пора».

Он смотрит на свою избу. Она похожа на все остальные, но над ней нет голубого дымка над крышей. Дымка, который рождается от заботы о любимом человеке. Она кажется ему огромным серым валуном, невесть зачем принесенным и оставленным здесь временем. Валуном, который согревается только снаружи, а внутри холоден до озноба.

Коровы идут тяжело. Налитое молоком вымя грузно, мешает идти. Мычанье наполняет деревню. Хозяйки разбирают своих коровиц.

— Саша? — раздается сбоку.

Он оглядывается, удивленно поднимает брови. У калитки на выкрашенной в яркий красный цвет скамейке сидит дед Филимон. На нем брюки галифе, начищенные сапоги, а на пиджаке ряд строго поблескивающих медалей. Во рту здоровенная, нещадно дымящаяся самокрутка.

— Здравствуйте, дед Филимон, — говорит Сашка, подойдя поближе. — Вы это чего сегодня при полном параде? Праздник какой?

Дед торопливо прижимает палец к губам, пугливо поглядывает на дверь — и заговорщически:

— Это я для старухи своей. Она меня шибко уважает, когда я в такой форме. Ругает меньше.

— А что случилось-то? — Сашка садится рядом с дедом.

Тот пыхнул самокруткой, снова оглянулся — и тихо:

— Ой, не говори, Саня. Дегустацию мы с Венькой Гореликовым произвели.

— Дегустацию? Какую еще дегустацию?!

— Обыкновенную. Значит, так, — дед пошевелился. — Старуха мне давеча по случаю именин «маленькую» выдала, а сама ляды к Митрофанихе точить пошла. Сижу я, значит, смотрю на «маленькую», а как одному пить? Гляжу, Венька по улице идет. Ну, позвал я его, объяснил, в чем загвоздка... — дед снова оглянулся на избу, загасил самокрутку: — Слушай. Выпили мы ее. Мало. Венька в магазин, а на ем замок. Настроение у нас стало, как у коровы, что травы не нашла. И кто меня, дурака, надоумил вспомнить, что у старухи в чулане еще две «маленькие» стоят, — дед в сердцах хлопнул себя по острой коленке, — просто ума не приложу! Ну, выволок я их на свет божий, а на них одинаковые затычки и цвет один, а нутро разное — это мне старуха как-то по щедрости души сказала. В одной-то яд какой-то, то ль одежду чистить то ль краску разводите, а в другой — водка, на зверобое настояна. Понюхали мы их — запах один. Ну,

Венька и предложил эту самую дегустацию. Давай, говорит, мы эту самую дегустацию на барбосе произведем. Если помрет — судьба, не помрет — тоже судьба. Ну, поймали мы барбосину-то, пасть ему раззявили и столовую ложку из одной бутылки — туда. Стоим смотрим, что с ним происходить станет. Сначала он мордой затряс, а потом стал такие кренделя выкидывать, что приходи смотреть — опьянел, значит. Ну, выпили мы ту бутылочку, сидим разговариваем.

Смотрю я, а Венька весь побледнел и пальцем мне за спину тычет. Глянул я, а барбосина лежит на боку и никаких признаков собачьей жизни не подает. Мы уж его и за уши, и за хвост — никакого ответа, — дед глубоко вздохнул. — Мы с Венькой к фельдшернице наперегонки. В жизни так не бегал. И как добежал — бог свидетель, не помню. А воды я там, Саня, выпил столько, что иной утопленник столько в себя не примет. Домой иду — покачиваюсь. Подхожу я, а барбосина из калитки выскочил и ну на меня гавкать. А тут и старуха подключилась, и уже в два голоса на всю деревню.

— А Венька? — Сашка вытер выступившие от смеха слезы.

— Венька-то? Венька как голос моей старухи услышал, так сразу в бега ударился. Да-а, — дед потер подбородок и недоуменно: — И чего барбосина сразу не лег?

За спиной протяжно скрипнула дверь, и на крыльце появилась бабка Дарья — толстая, медленная в движениях, но только не на словах.

— Филимон?! — грозно зовет она. — А ну-ка подь сюда!

Сашка хочет встать, но дед торопливо хватается его за рукав, просит:

— Ты уж побудь, побудь. При тебе-то она, того, не очень.

— Здравствуйте, Дарья Степановна, — говорит Сашка, оборачиваясь.

— Здравствуй, Саша, здравствуй, — отвечает она, направляясь к калитке. Подойдя, спрашивает: — Слышал, что мой дурень отче бучил? На всю деревню опозорил, ирод несчастный! Ну погоди! Я тебе такую дегустацию устрою...

— Зря вы его ругаете, Дарья Степановна, — перебивает Сашка, стараясь не улыбаться.

— Как это зря? — изумляется старуха.

— Дегустацию эту и служебным собакам раз в месяц производят, для профилактики, так сказать. Ну что за жизнь у собак-то? Не жизнь, а одно расстройство. Вот им и дают водки маленько, чтоб поднять жизненный тонус, чтоб лаяли громче. Это я и посоветовал деду Филимону. Пес-то у вас громче лаять стал? Громче, Дарья Степановна. На другом конце деревни слышать.

— И то верно, громче, — неуверенно соглашается бабка, подозрительно глядя то на Сашку, то на мужа.

— Вот и я говорю, что громче, — роняет Сашка, поднимаясь.

— Ну, ежели так... Э-э, — бабка машет

пальцем.— А куда ж тогда остальное с бутылки подевалось, а?

— Так ведь именины у деда были. А именины ведь не каждый день случаются. Простить можно, чего уж там, Дарья Степановна.

— Я вот его прощу,— ворчит та.— Я его так прощу...— и улыбается Сашке из-за спины заметно повеселевшего деда.

Вскоре, выпив положенную кружку чая, Сашка сидит на крыльце, курит. В деревне тихо. Где-то далеко в лесу кукует кукушка. Справляют последние заботы дня люди и незаметно, изба за избой, погружаются в сон.

Вечерняя зорька отгорела, до утренней еще далеко. Сашка спит. А на стене над календарем деловито тикают часы: «так-так, так-так...»